

Б.Г. Соколов

Компенсационный проект музея

Топология музея – это сакральная топология. Даже больше. Музей и то, что несет в себе «штамп» музея – табуированная зона современной культуры. Священное положение в «точном» значении этого термина: традиция, неоспариваемая вера, жесткие санкции вплоть до исключения из «нормального общества» и т.п. Мы все были не раз разворачивания довольно скандальной для ориентированной на права индивида, личные свободы, бесконечной ценности человеческой жизни антитезы: музей, как хранилище так или иначе связанное с прошлым умершим превалирует над живыми. Примером может послужить чрезвычайная ситуация войны. Ситуация войны - это ситуация, которая отменяет многие не только демократические нормы типа свободы выбора, сомнение решений властных инстанций, но и снимает самые жесткие табу на убийство, «спонсирующая» снисходительность к грабёжам, мародерству, насилию и т.п. Но даже в этой ситуации отношение к музейному локусу не меняется: разрушение музея – это высшая форма варварства, не сравнимая ни с убийством миллионов, ни с издевательствами над мирными и даже лояльными жителями. Статус музея не подлежит девальвации ни в каком случае. Мы все прекрасно помним самоотверженность работников отечественных музеев, спасавших экспонаты порой ценой собственной жизни.

Показательно в этом отношении реакция и рецепция на «вести», «жесты» из иных культурных миров, в которых подобное табуирование в принципе невозможно: уничтожение статуи Будды в Афганистане с одной стороны приравнивает исламскую шкалу ценностей к первобытному, дикому и бесчеловечному состоянию, а с другой попутно демонстрирует – как и положено – высочайший гуманизм европейской цивилизации. Приверженность к ценностям – а в ценности можно разве что верить – цивилизованного общества приравнивается к сохранению памятников прошлого. Представляется подобное отношение вступает в противоречие не только с декларируемыми принципами и ценностями нашего общества, но с самими фундаментиру-

щими европейскую культуру базовыми структурами и «архетипами». При всех реверансах и уважению к традиции и музею, мне представляется более значимым боль и радость живущих, чем мумификация «ушедших», но сберегаемых предметов.

Однако речь пойдет не о статусе и топологии музея – они и бесспорны и могут быть оспорены. Бесспорными в своей значимости они представляются потому, что музей – это та реальность европейской культуры, которая – и этому подтверждение указанный казус войны – крепко укоренена как безапелляционное кредо всей традиции. Это настолько мощный архетип, что устранение или переосмысление данного культурного топоса затронет сами основы европейской и мировой культуры. А «базисные» явления не подвергаются процедуре сомнения, в них можно только верить и «присягать» на верность: через эту «присягу» и веру происходит своеобразная «евхаристия» и подтверждается принадлежность к той или иной культурной традиции. Иначе говоря здесь протекает водораздел «Свой-Чужой», определяемый не рациональными аргументами, а приверженством к «символу веры». Спорными же статус и привилегированная топология музея представляется постольку, поскольку вступают в противоречие не только с иными культурными форматами, но и поскольку противоречивы сами по себе. Одно из таких спорных мест мы и постараемся прояснить.

Философия и гносеология XX века фиксирует как одну из базовых характеристик человека его проективность. Человек есть проект – сброшенная в будущее и вовне сущее, обретающая свою самость не как нечто статическое и фиксированное, но как отложенное и выброшенное вовне. Проективность как терминологический концепт использовалась в большей мере философами, условно причисляемыми к экзистенциалистам: широкий спектр «разношерстных» мыслителей от Хайдеггера, Ясперса до Сартра и Камю. Мы полагаем, что само понятие проективности как сущности человеческой экзистенции может быть зафиксировано и в других концептах, которые использовали другие мыслители: идет ли речь об интенциональности в феноменологии или об эксцентричности у представителей так называемой философской антропологической школы (Шелер, Плеснер, Гелен) по сути выявляется именно проект, проброс человеческой экзистенции. И потому несмотря на различие в терминах на представляется в данном отношении не важным, в каких терминах тематизируется одно и то же свойство сознания

и самой экзистенции человека, а именно указанная проективность.

Однако любая тематизация и фиксация проблемы говорит не всегда о том, что уловлено что-то существенное в самой природе человеческого существа. Я бы не взял на себя смелость приписывать проективность человеку на все времена, а также выявлять это как сущностный способ его экзистирования. В данном случае мы имеем скорее всего следующую ситуацию: тематизация проявляет не столько сущность человека, сколько про-являет ту культурную традицию, в которой эта тематизация осуществляется. Иными словами мы имеем довольно банальную ситуацию, когда через определение определяется не определяемое, но определяющий, что в принципе вполне нормально и естественно. То есть в ситуации тематизации и фиксации на терминологическом и проблемном уровне понятия проективности речь идет об исповедальном проговаривании своего, но не общечеловеческого, а новоевропейского сокровенного.

Действительно, мы полагаем, что новоевропейский тип сознания проективен, и это есть одно из сущностных свойств новоевропейской ментальности, сомнительно – человека вообще. Трудно себе представить проективность или эксцентричность в том смысле, каком она полагается экзистенциальными мыслителями, как свойство, например, коллективного сознания примитивного человека, о котором, правда больше говорят, нежели могут наблюдать по понятным причинам: даже попытки его обнаружения в тем примитивных реликтовых племенах, есть новоевропейская рецепция и интерпретация, которая положена даже уже одним «пере-водом» на современные языки. Соответственно культурный ландшафт в целом и любая часть его запечатлевают эту проективность новоевропейской ментальности в любых своих сферах. Еще раз проективен: направлен вовне, в будущее, в иное и т.п. И это – базовая характеристика новоевропейского типа сознания и потому любая сфера реальности выстраивается по этой модели проективности: от повседневности, до производства. Самость всегда впереди, в будущем, в ином. Остановка – это девальвация и смерть.

Выделим два следствия этой проективности, которые нам понадобятся для анализа. Одно из следствий-проявлений этой проективности положенность сущностной неопределенности европейского индивида. Эта неопределенность – «определе-

ние» новоевропейского способа существования в любых сферах присутствия человека, что, понятно, должно быть значимо как неоспариваемая ценность. Эта ценность полагается в основании любой рефлексии и принимается на веру, вернее даже не принимается, поскольку «акт принятия» веры все же в чем-то рациональный выбор, а данный выбор даже не осуществляется, поскольку он изначально принимается через изначальную культурную дрессуру.

Второе следствие – это проброшенность в будущее, ценность не прошлого, но будущего, без которого невозможен ни один акт европейского индивида, ни одно его «телодвижение». Полагание и удержание будущего есть полагание и удержание самости. Самость конституируется не в горизонте настоящего или прошлого, но в горизонте будущего. Не «выкладывая» всех «подследствий» этого следствия укажем лишь на одно из его проявлений: лишь при подобной выстроенности по ценностной шкале стало возможно такое производство, которое делает завтра произведенный сегодня товар обесцененным, девальвация заложена не моделью производства, когда рынок диктует обесценивание товара и подстегивает прогресс в производственной сфере и постоянное удешевление товара, но сама ценностная шкала европейской ментальности с ее нацеленностью на будущее.

Остановимся пока на втором моменте: ценностная преференция будущему. При подобной положенности будущего оказывается довольно странным сам проект музея, нацеленный на сбережение и сохранение. Ведь любая фиксация, любое сбережение – это движение идущее в обратном направлении, движение выстраивающее мир из прошлого, а не конституирующее его в проективном будущем. Иными словами мы имеем явное противоречие, которое должно было бы не только поколебать сам факт присутствия и постоянного воспроизводства феномена музея, но просто его упразднить, сохранив лишь изредка его как фигуру экзотичности, не более того. Конечно, противоречивость лишь для обыденного рассудка является той фигурой, которая им не приемлется и должна быть устранена. Наше сознание и мир настолько противоречив, что можно лишь «удивляться» как он еще существует.

Несмотря на это попытаемся «снять» это противоречие, тем более, что оказывается, что второе следствие, а именно безопорность и неопределенность субъекта как сущностная характери-

стика новоевропейской традиции нам поможет в этом. Обратимся сначала к субъекту, индивиду, который оказывается в ситуации обращенности в будущее, и эта обращенность в будущее настолько «мощна», что даже наши рассуждения о прошлом оказываются конституированными обращенностью в будущее. Человек, понятно, не живет в настоящем. Во-первых, термин и понятие «настоящее» – это некий мыслительный конструкт, который не схватывает суть проблематики времени, а скорее ее извращает. Собственно говоря, нет «чистых» настоящего, прошлого и будущего. И не только потому, что в подобном членении их просто-напросто не существует: прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее – скользкая и несхватываемая точка, некий постоянный мигрирующий атопон. Время в котором существует человек и которое есть человеческое время, а не математический экстракт, вытяжка из реального времени, намного сложнее, чем фиксированная «троица» прошлое-настоящее-будущее. Человеческое время постоянно конституируется как горизонт его присутствия, в котором настоящее постоянно порождается и соприсутствует с прошлым и будущим. Также как, впрочем, и прошлое, и будущее: они соконституируются и со-положены в экзистирующем существе человека.

Превалирование одного определенной направленности – а скорее мы должны говорить об определенной экзистенциальной интенциональности времени, чем о фиксации прошлого, настоящего и будущего – оказывает негативное влияние на целостность. Скорее всего, на экзистенциальном же уровне для сохранения целостности действуют компенсационные механизмы. Таким образом, то, что одна из сторон соконституирующего процесса «выпячивается», получает большую значимость, не может «позитивно» сказываться на процессе экзистирования и компенсационно «выпрямляется». Направленность в будущее, которая превалирует в новоевропейской способе экзистирования компенсируется «навязчивой» и по виду противоречивой фиксации любого явления, связанного с прошлым. Мы упоминали об экзистенциальной направленности проживаемого времени, т.е. само проживание его жизненно интенционально. По этой причине, а также потому, что время «входит» в любой наш акт – и это было ясно еще И.Канту фиксирующему на уровне трансцендентальных схем «навязчивое» присутствие временного горизонта – как его безусловная и неререфлексируемая компонента, то, что «разыгрывается» как схема во временном гори-

зонте, с необходимостью разыгрывается и на всех экзистенциальных горизонтах и уровнях экзистирования.

Соответственно, компенсационное полагание прошлого относится и к социальной сфере, где «модификации» этого компенсационного процесса обладают необходимостью. Но как укорененные в самые базисные горизонты экзистенции, они не могут быть подвергнуты рефлексии, оспорены, уничтожены, без «катастрофы» для самой экзистенции. Именно по причине их базисности они обладают безусловной ценностью и значимостью, той значимостью, которая оказывается даже более ценной, чем жизнь отдельного индивида.

Таким образом, мы имеем своеобразную компенсационную «игру» в прошлое, которое восстанавливает «ущербность», неполноту новоевропейской культуры, обращенной в будущее. Иначе чем мы можем объяснить то постоянное воссоздание прошлого в различных аспектах? Например, так называемая историчность европейской ментальности: всем и давно понятно бессельность размышлений об истории, которая никогда никого не учит, но способна ложностью аналогий увлечь на опасный путь, и примеров тому достаточно. Почему она не только поощряема в социальной сфере вплоть до введения ее в дисциплинарный круг обязательных предметов в школе? Обращенность в прошлое, его изучение, вплоть до признания исторической перспективы необходимым звеном и частью научно-гуманитарного анализа, лишь компенсационно восстанавливает другую, более зримую интенцию на будущее, новацию: требования новизны в научном исследовании. Здесь мы также имеем преломленную в научной сфере игру в компенсацию прошлого: новация, новизна научного исследования должна уравновешиваться историчностью рассмотрения проблем. Или, пример из другой сферы, а именно из сферы производства. Современный промышленный продукт имеет тенденцию к бесконечно быстрому потреблению, предел которого – одноразовое использование. Купленный сегодня он «завтра» стоит на 5 процентов ниже, «послезавтра» – на 10%, а через год – и на все 50%. При чем подобная динамика вызвана не только давлением конкурентов и рынка. Мы живем, как фиксирует Бодрийяр, в эпоху не производства, а воспроизводства, а потому главное – постоянное воспроизведение производства, а все остальные компоненты – вплоть до потребления – «подстраиваются» под эту динамику, требующую постоянного возобновления цикла, что воз-

можно лишь при постоянно уменьшающейся цене произведенного продукта. Однако, продукт, чтобы быть реализованным, должен демонстрировать и устойчивость, качество и добротность, что, понятно, с «точки зрения одноразового продукта» экономически нецелесообразно. Требования к добротности, даже «вечности» продукта – это компенсационное требование, вступающее в противоречие с проективностью, вызывающей бесконечное удешевление, провоцирующее мгновенное потребление. Например, произведенные в Японии автомобили имеют возможный ресурс мотора до 1000000 км пробега, и самое «удивительное» для отечественного потребителя этого продукта способны выдержать таковой пробег. Вместе с тем, держать автомобиль в самой Японии более трех лет оказывается достаточно дорогим удовольствием: автомобили, возраст которых превышает трехлетний в «Стране восходящего солнца» облагаются непомерными налогами, плюс все ужесточающиеся требования по экологии и т.п.. За эти три года среднестатистический автомобиль может «осилить» лишь тысяч 200, не более. Зачем такой запас прочности, если автомобиль предназначен лишь на трехлетнюю эксплуатацию? Добротность как модус сохранения прошлого вступает в явное противоречие с экономической проективной целесообразностью и это происходит как отражение указанной динамики, которая разыгрывается в базе современной культурной традиции.

Понятно, что проекция компенсационной «игры» в первую очередь касается того объекта, о котором мы ведем речь: музей. Музей, как обращенность, фиксация прошлого, оказывается не просто социально или культурно значимым для европейской ментальности, но имеет куда более базисные связи, а потому вовлечен в «игру» базисных сил. Причем указанная «игра» осуществляется как на социальном и даже «государственном» уровне, где поддержка музеев оказывается социально-значимым комплексом мероприятий, которые подкрепляются как финансированием, так и привилегированным статусом самого локуса музея (охраняемый памятник, национальное достояние и т.п.), так и на индивидуальном, когда музейные экспонаты, сам музей значат для индивида подчас больше, чем его жизнь.

Таким образом, сам проект музея и его необходимость базируются на более существенных основаниях, отражающих ту динамику, которая порождается правилами компенсационной игры новоевропейской культуры. Эта необходимость подкреп-

ляется еще рядом как онтических, так и социальных обстоятельств. Прежде всего указанная безупрочность новоевропейского субъекта и новоевропейской культуры также компенсационную необходимость некоего базиса: динами укоренения через движение, направленная вовне и в будущее способна развертываться иногда лишь в философских системах, например самосозидающейся воли к власти у Ницше. Обращенность к традиции и прошлому в этом отношении дает подобный базис. Соответственно на музей онтически подкреплён как традирование, сбережение, но, опять-таки, как компенсационной локус. Укажем также, что музей фундирован и в динамике игры своего иного и с процессами воспитания.

Итак, мы постарались прорисовать некое онтическое оправдание существования музея и того «бума», который переживает он в современной традиции, руководствуясь известной фразой Маяковского: «Если звезды зажигают, то это кому-то нужно». Необходимость, нужда музея имеет онтические основания и отражает компенсационную игру, развертывающуюся на онтическом уровне в самих основаниях новоевропейской культуры, а также той культуры, которая является «дочкой» данной культуры, а именно общемировой культуры.

Остается указать лишь на опасность, которая всегда кроется в «гипертрофии» любого феномена. Подобно тому, как капитализм в его «традиционном» виде, мягко трансформируя его в общество воспроизводства, тоже самое может произойти и с музеем, поскольку жесткая, а не компенсационная, имеющая своим основанием игру с иным, ориентация на прошлое довольно опасна для самого феномена музея. Это тем более актуально, что любая институализация – а музей уже давно институализованное пространство – несет в себе стремление к замкнутости и самодостаточности. Поэтому сам проект музея способен к динамике развития лишь тогда, когда он проективен, т.е. направлен вовне и в будущее, когда он не является самодостаточной ценностью, но лишь ценностью, обретаемой в отношении с иным. Но что такое иное в ситуации музея? Это на самом деле та проблема, которая не может быть решена ни на уровне «музееведения», ни на уровне рефлексии. Это – экзистенциальный поиск. И лишь он способен сделать из обращенности в прошлое предчувствие будущего.